

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Лев Гудков. Преодолевая равнодушие, страх и молчание</i> . . .	9
Предисловие	24

Часть I. Избавление от нацистского прошлого

1. Денацификация Западной Германии	32
Выявление сторонников нацизма	35
Судебные процессы над военными преступниками	47
Достижения и проблемы денацификации	59
2. Источники изменения официальной коллективной памяти в послевоенной ФРГ	64
Уничтожение и обретение памяти	65
Расширение публичной сферы и появление альтернативных версий памяти	72
Новые символические структуры общественного сознания	91
Закрепление новых ценностей: институционализация памяти о нацистском прошлом	107
Признание вины и новая идентичность	120
3. На пути к демократии. Трансформация политической культуры ФРГ в контексте проблем памяти и идентичности	124
«Нормальная» нация?	124
«Неспособность скорбеть» и аполитичность ранней республики	131
Проработка прошлого и рост гражданского активизма	139
Обязательство помнить и политическая культура ФРГ	155

Часть II. «Железный занавес» поднимается

4. Когда пала Берлинская стена. Юридическо-правовая проработка прошлого ГДР в объединенной Германии	162
Открытие архивов	164
Люстрация: проверка представителей элиты и госслужащих	186
Доступ журналистов и исследователей к архивам	197
Судебные преследования лиц, ответственных за нарушения прав человека в ГДР	206
Роль общества	239

5. Демонтаж соцлагеря. Люстрация и открытие архивов в странах Центральной и Восточной Европы	251
Особенности перехода к демократии в странах бывшего соцлагеря	251
Цели и мотивы сторонников люстрации в странах ЦВЕ	261
Ранняя и жесткая люстрация: Германия и Чехия	277
Мягкая люстрация: Польша и Венгрия	288
Люстрация без архивов: страны Балтии	303
Поздняя люстрация: Румыния и Словакия	326
Отказ от люстрации: Россия.	334
Разница подходов к расчету с коммунистическим прошлым	353

Часть III. Наследство серпа и молота

6. ВЧК и ее преемники: практики террора и методы дискриминации	372
Создание машины террора	373
Идеологическая основа террора: образы «врагов» советской власти и способы их «нейтрализации»	378
Роль органов госбезопасности в терроре. Правоприменительные практики советских судебных и внесудебных органов	393
Восприятие органов госбезопасности российским обществом	419
Наследие террора	435
7. Трансформации органов государственной безопасности в постсоветской России.	438
Аппарат госбезопасности в годы перестройки	438
Реорганизация КГБ СССР после августовского путча 1991 года	453
Реорганизации КГБ России и постсоветские трансформации спецслужб	456
Расширение полномочий и функций ФСБ в 2010-е годы	481
8. «Стать центром сопротивления насилию...» К истории создания общества «Мемориал»	495

9. Двадцать восемь панфиловцев снова в строю. Почему Россия возвращается к системе государственной идеологии	526
Государственная идеология патриотизма	526
Официальная политика памяти: историческая преемственность и национальное единство vs фальсификации и очернение истории	535
Рост сталинского мифа	542
10. Опыт украинской люстрации	546
Украинская модель люстрации: исторический и политический контекст	546
Закон «Об очищении власти»	552
Предварительные результаты	559
Люстрация судей	563
Краткая библиография	577
Об авторе	580

Преодолевая равнодушие, страх и молчание

Книга Евгении Лёзиной «XX век: проработка прошлого», которую вы держите в руках, — одно из самых серьезных и глубоких исследований практик выхода из тоталитаризма. В российской научной литературе эта работа — совершенно уникальное явление. Вводится обширный и новый фактический материал, по большей части совершенно неизвестный отечественной публике, а его обобщение строится на опыте политологии, психологии, юриспруденции, социологии. Понимание проблематики социальных процессов XX века, социальной истории, к которому российские интеллектуалы еще только начинают подходить или могут подойти в ближайшие годы, в этой работе является продуманным концептуальным основанием.

Принципиально важен здесь сам стиль и манера мышления, необычная по своей зрелости и широте кругозора. Она предполагает сочетание социально-исторического анализа и описания правовых и институциональных практик выхода из тоталитаризма, включая социологический, политологический и психологический разбор последствий и эффективности мер, принятых обществами разных стран. Трезвое представление автора о масштабе проблемы и колоссальных трудностях в ее решении делает изложение ясным, эмоционально сдержанным, лишенным как избыточного оптимизма, так и фатального пессимизма. У меня нет сомнений, что эту книгу будут изучать в учебных курсах на исторических, политологических и социологических факультетах российских университетов. Когда это случится — через 5, 10 или 15 лет, — не знаю, но уверен, что эта монография займет свое место в ряду образцовых произведений, подводящих итоги XX века.

Камертоном всего исследования можно считать вопрос Варлама Шаламова: «Разве уничтожение человека с помощью государства — не главный вопрос нашего времени, нашей морали?» Но как выйти из такой системы, когда все институциональные структуры государства, законы, социальный порядок, образование, идеология, культура предназначены для оправдания и обеспечения подобных практик насилия? И не просто выйти, а создать условия, при которых это станет невозможно в будущем?

Впервые, как показывает Лёзина, эта задача была четко сформулирована в США в 1942 году немецкими эмигрантами — Ф. Нойманом, О. Кирххаймером, Г. Маркузе и другими представителями Франкфуртской школы социальных наук. Еще в условиях войны, исход которой тогда был не ясен, ими по запросу американской администрации была разработана детальная программа денацификации. Ее смысл заключался в том, чтобы не только выявить и наказать преступников, но и обеспечить невозможность воспроизводства нацистских институтов и тоталитарной идеологии в будущем. А это означало — определение круга ответственных за преступления нацистского режима, правовую оценку их действий, организацию и проведение судебных процессов, продуманную кадровую политику, а также — может быть, самое трудное — изменение массового отношения к режиму, формирование другой моральной атмосферы в обществе, делающей тоталитарную идеологию и политику недопустимыми.

Первые шаги по пути к демократии в стране, где основная масса населения поддерживала тоталитарную систему, предполагали осуждение главных преступников и изоляцию среднего состава нацистского аппарата: запрет на работу в государственных органах, в общественных организациях, в СМИ, в сфере образования, исключение их из руководства экономикой, недопустимость влияния на экономическую политику государства.

Первая часть книги Лёзиной посвящена анализу реализации этой программы в послевоенной Германии, итоги которой вызывают неоднозначные оценки, несмотря на ее несомненный успех — становление в ФРГ полноценной демократии. Опыт Германии часто воспринимается как образец политики преодоления прошлого. Однако автор показывает, что это далеко не так: большая часть судебных процессов над нацистскими

руководителями и функционерами пошла иначе, чем ожидалось. Очень многим из тех, кто был виновен в преступлениях, снизили сроки, многие были амнистированы, оправданы и т. п. Первоначальный замысел — осудить ответственных руководителей, а не рядовых нацистов или исполнителей — не был полностью выполнен по многим причинам, включая сопротивление на местах, отсутствие необходимых судебных кадров и т. п. Понадобилось сорок лет, два поколения, чтобы немецкое общество перешло от внешнего административного и правового принуждения к признанию преступности государства и к осознанию общей ответственности за участие в действиях нацистского режима.

Такие изменения в системах ценностей, морали, символов предполагали непрерывную работу по осмыслению прошлого, деятельное участие ученых, философов, юристов, политиков, психоаналитиков, писателей, теологов, учителей. Это, в свою очередь, вызывало сопротивление, отторжение и замалчивание результатов этой работы. Главная трудность заключалась в преодолении равнодушия, за которым стояли не только массовый аморализм и отказ от ответственности подданных тотального государства, бесчисленных маленьких исполнителей воли преступной власти, но и сформированные практиками такого государства неспособность к сопереживанию другому, отсутствие человеческой эмпатии, понимания, ограниченность социального воображения.

Остальные части книги отданы описанию и анализу того, как проходил процесс декоммунизации в странах бывшего соцлагеря — в ГДР, Польше, Чехии, Словакии, Румынии и Венгрии, опыту проведения исторической политики в странах Балтии, в Украине и разбору крайне противоречивых изменений в постсоветской России. Лёзина подробно и убедительно исследует ход институциональных трансформаций в разных странах Европы, делая акцент на законодательных практиках, степени и масштабах люстрации, исторической политике. Она показывает, что люстрации — это не месть, не чистки, а меры защиты утверждающейся, еще слабой демократии.

Но люстрации — это еще и программирование будущего: действия, препятствующие воспроизводству кадров бюрократии

из прежних, тоталитарных институтов. Именно очищение кадрового состава администрации высшего и среднего уровня бывших коммунистических государств, пресечение связей с партийными структурами и органами политической полиции, террора, надзора и насилия должны были повысить ответственность и участие людей в делах, имеющих общую значимость, вернуть доверие населения к власти и преодолеть характерную для этих обществ массовую апатию, отчужденность подданных от политики, которые Ханна Арендт считала несущей конструкцией тоталитарных режимов.

Я не буду пересказывать содержание исследования Лёзиной и предварять ее главные выводы и заключения. Попробую лишь высказать свое мнение о том, что является предметом ее размышлений.

Ошибки российских демократов, если это можно назвать «ошибками», а не сознательным курсом, состояли в том, что преступления Советского государства не только не были осуждены в моральном, политическом и правовом плане, но не было и самой идеи о необходимости уничтожить средства институциональной репродукции тоталитаризма, лишить их влияния на будущее. За последние тридцать лет появилось множество серьезных работ по истории сталинизма, описывающих технологии и масштабы массовых репрессий. Но не было даже идеи по выработке мер предупреждения регенерации тоталитарных структур и определения средств защиты едва образовавшейся и слабой демократии. В итоге все репрессивные институты — КГБ-ФСБ, МВД, прокуратура, судебная система — остались вне гражданского контроля и практически без изменений: они обладали собственными образовательными структурами, готовящими своих собственных специалистов в духе их собственной «профессиональной этики» советского времени: правового цинизма, сервильности и беспринципности.

Типичная сегодня реакция людей на появление работы о «тоталитарном прошлом» сводится к легкому раздражению: «Ой, опять об этом. Зачем? Уже столько написано». Но применительно к нашей стране нет никаких оснований считать, что сделано очень многое, скорее наоборот. Устойчивое сопротивление, оказываемое такой работе, нежелание разбираться со своим

прошлым, проявляемое, как только затрагиваются подобные темы, правильнее рассматривать как симптом скрытых конфликтов и напряжений, о которых «лучше молчать, чем говорить». Сам факт негласного табу на определенные темы (общее согласие в том, что об этом не нужно думать) означает, что дело не в истории, не в прошлом, а в социальных отношениях, которые воспроизводятся в настоящем.

Если называть вещи своими именами, речь о проблематике институционального насилия государства. Лёзина выносит на свет именно то, что так хорошо скрывает от себя самого российское общество. Автор ясно представляет себе природу тоталитарных режимов и последствий, которые образуют незаживающие травмы и комплексы массового сознания, обеспечивающие сохранение подобных систем господства. Она прекрасно понимает, что вскрытие коллективного бессознательного, или нашего коллективного подсознания, может происходить только через анализ механизмов воспроизводимости подобных режимов на протяжении поколений.

Вопрос «Почему в России не получилась демократия?» — один из самых важных для нас, но российские политологи, социологи, юристы всячески стараются уклониться от ответов на него. В лучшем случае диагноз неудачи ограничивается простой констатацией: реформаторы оказались политически несостоятельными, не смогли воспользоваться широкой поддержкой, которую они имели в 1989–1991 годах. Или ссылаются на трансформационный кризис 1992–1999 годов, который оказался настолько глубоким, затяжным и тяжелым, что люди потеряли доверие к демократам и надежду на их способность вывести страну из тупика, в котором она оказалась к середине 1980-х годов. Чиновники настаивают на том, что демократы в ходе сомнительной приватизации дискредитировали себя, что непродуманные реформы разрушили советскую экономику, привели к разгулу преступности и т. д. Возведение объяснения к формулам более общего порядка («Всякая революция проходит свои циклы развития, реакция — это неизбежный этап консервации достигнутых изменений») — явно не лучше, хотя оно, мало что объясняя, позволяет примириться с временным поражением.

Дело не только в понятном («естественном») оппортунизме экспертов, зависимых от государства или международных научных фондов. Настоящая причина политологического пустословия заключается в том, что на поставленный выше вопрос нет ответа. «Исторически так получилось...» Честным, то есть единственно возможным, ответом был бы следующий: «Всерьез демократии никто не хотел и об этом не думал». Упреждая возмущенные реакции: «Как же так, а сотни тысяч митингующих в 1989–1991 годах, а движение неформалов, диссиденты, гласность, Съезд депутатов, августовские баррикады вокруг Белого дома?», вынужден сказать: хотели бы — получилось. Для этого надо было готовиться, брать на себя ответственность, создавать теневые («параллельные») неформальные социальные структуры, способные принять на себя функции новых институтов, как это было в Польше, Чехословакии, Эстонии. Никто ведь не заставлял демократов отдавать свои права бывшему первому секретарю обкома, полагаясь на «честного, порядочного и прогрессивно мыслящего» начальника.

Лукавство обычных объяснений заключается в том, что объясняющие избегают затрагивать неудобные вопросы о природе установившегося режима, его генетической связи с советской системой, его отношении к тоталитарному прошлому. Эта тревожная (в силу очевидной опасности подобных размышлений) тематика вытеснена из общественного дискурса. Но остаются следы внутреннего дискомфорта, которые проявляются в навязчивых разговорах публичных интеллектуалов о предстоящем «транзите» власти, о «низовой модернизации», «недостойном правлении», необходимости честных выборов и «умном голосовании», «черных лебедях» или о неожиданности внезапных перемен, о «поколении миллениалов», уже не имеющих ничего общего с «советским человеком» и прочем. Дело не в ограниченности интеллектуальных способностей рассуждающих об этом и не в недоступности теоретических, концептуальных ресурсов для анализа причин социальной неудачи, а в человеческих проблемах самих отвечающих, двусмысленности их моральной и гражданской позиции.

Развал советской системы не означал ликвидацию составляющих ее институтов. Исчезли плановая государственная

экономика, КПСС, но остались базовые институты — авторитарная вертикаль, не контролируемая обществом, лишенным средств представительства и контроля. Тайная политическая полиция, действующая вне правовых рамок (а потому отвечающая интересам сохранения суверенной власти). Массовая мобилизационная армия. Судебная система, полностью зависимая от Администрации президента, превращенная в репрессивную судебную бюрократию. Государственные СМИ, с приходом Путина занявшие практически монопольное положение и превратившиеся в систему тотальной пропаганды, эффективной и демагогической. Контроль над региональной и местной администрацией, отсутствующее самоуправление. И наконец, система массового образования, воспроизводящая в основе все стандарты советской идеологии.

Я назову лишь два обстоятельства, блокирующие или закрывающие возможности понимания исторической несостоятельности демократии в российском обществе.

Первое касается глубокой травмы массового сознания, порожденной невозможностью признавать преступления Советского государства против населения страны и одновременно сохранять коллективную идентичность, сформированную тоталитарными институтами этого государства. Глупо отрицать значимость этой идентичности. Наряду с приспособлением к репрессивному государству, глубоко укорененным страхом перед администрацией, готовностью пресмыкаться и демонстрировать свою лояльность к внутренне неуважаемой власти есть множество соблазнов, предлагаемых советской идеологией и пропагандой маленькому человеку. Как всякая тоталитарная идеология, советская коллективная идентичность дает униженному общим произволом индивиду возвышающее сознание принадлежности к Великой державе, чувство национального превосходства и исключительности (= остатки коммунистического миссионерства или даже православного избранничества, все-таки «Москва — Третий Рим!»), имперской силы и права диктовать «свою волю» другим народам, изолируя («У России — свой особый путь») и защищая человека от смущающего сравнения своей жизни и достатка с жизнью людей в развитых странах.

Второе — тот факт, что движущей силой реформирования советской системы была численно растущая бюрократия среднего звена — ИТР, преподаватели, научные работники, журналисты, хозяйственники, директора предприятий и т. п., начавшая после прекращения сталинских чисток и массовых репрессий испытывать во времена брежневского застоя серьезные карьерные проблемы (склеротизация каналов вертикальной мобильности). Без учета и понимания мотивов этой самой компетентной группы советских управленцев и идеологов (почти совпадавшей по численности со всем образованным слоем в СССР) искаженным и мифологизированным оказывается и сам процесс изменений, или распада СССР, включая и паралич, бездействие тех, кто должен был защищать эту систему. Именно бюрократия была держателем той идеологии, о которой говорилось чуть выше. Только она могла сохранять и транслировать идею государства как единственного суверена, защитника общих ценностей, интересов и прав, инициатора политики реформ. В тотальном государстве не могло быть иной социальной группы, обладающей авторитетом и интеллектуальными возможностями для разработки иной идеологии.

Поэтому, при всей радикальности слома коммунизма в 1991–1992 годах, позиции бюрократии не были серьезно затронуты и ущемлены¹. Осознание этого обстоятельства позволяет яснее видеть цели и границы институциональных преобразований, включая экономику, характер приватизации, отказ от суда над КПСС, люстрации, реформы политической полиции и судебной системы, то есть от решительного проведения политики исторического расчета с прошлым. Пределы изменений были заданы интересами, горизонтом и идеологией бюрократии. Все вместе это и придает особенные черты современной российской политической культуре, сложившейся вокруг идеологии суверенного, патерналистского и милитаристского государства.

¹ Пониманию этого препятствует убежденность либералов в массовости или даже общенародности выступлений против ГКЧП в августе 1991 года (которые ложно отождествляются с антикоммунизмом). Этот тезис был крайне важен для легитимации новой власти, возглавляемой Б. Ельциным, хотя в действительности антикоммунистические акции и протесты носили ограниченный и локальный характер.

Но идентификация с таким государством означает соучастие в его преступлениях. Признать это, а значит — и свою ответственность российское общество не в состоянии (и в целом, и в лице отдельных людей). Карл Ясперс после войны, размышляя об общей вине немцев, разводил два понятия: *юридическое* — вины непосредственных инициаторов террора, высшего руководства гитлеровского рейха, и *моральное* — коллективной ответственности, вменяемой всему обществу (если это «общество»). И то и другое образует единый комплекс действий, без которых невозможна рационализация прошлого, а значит, и проведение результативной исторической политики и демократических трансформаций. Но если первое допускает участие, включение внешних сил, международных институтов, то второе может опираться только на внутренние ресурсы самого общества.

Одно без другого невозможно: было бы непростительной наивностью, политическим инфантилизмом надеяться только на моральный потенциал и интеллектуальные ресурсы общества, пережившего состояние предельного аморализма в продолжительные периоды массового террора — своего рода антропологическую катастрофу, как ее называл Иосиф Бродский. Необходимо принуждение к признанию самого факта преступления, которое может быть произведено только правовыми образом и средствами и только авторитетом самого государства. Однако даже в Германии и Италии это было сделано с большим трудом и только с помощью победителей — оккупационной администрации. В странах Центральной и Восточной Европы (там, где это произошло) — посредством ранее сформированных организаций гражданского общества и участия Евросоюза. У нас в 1992 году вся предстоящая работа такого рода была сразу же отдана прежней бюрократии.

Чем дольше существует нынешний режим, тем чаще и настойчивее политическое руководство страны подчеркивает свою преемственность с Советским государством: оправдание пакта Молотова–Риббентропа и раздела Польши, войны с Финляндией, вторжения в Афганистан, апология Сталина, закрытие архивов, борьба с «фальсификациями истории». Дефицит легитимности, вызванный стагнацией экономического и социального развития

страны, власти пытаются компенсировать обращением к прошлому, к величию Советской державы с ее моральным капиталом победы над нацизмом. Происходит героизация милитаризма и конфронтация с западными демократиями — реанимация идеологии и представлений предшествующих эпох.

Поэтому все труднее становится не только объяснить, как и почему возникла такая репрессивная институциональная система, на чем она держалась, чем вызвана ее устойчивость на протяжении столь долгого времени, но и понять, где и как искать выход из нее. И здесь мы сталкиваемся как с массовым нежеланием разбираться со своим прошлым, так и с сопротивлением рационализации истории, которое оказывает правящая бюрократия, расценивающая подобную деятельность как «подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества»¹. Само понятие «тоталитаризм», акцентирующее институциональные параллели советской системы с нацизмом или фашизмом, представляется сегодня крайне нежелательным и опасным для одних и «научно неадекватным», неправильным — для других.

Особенность работы Е. Лёзиной состоит в том, что читатель не только знакомится с опытом преобразований в других странах, с историей успеха и неудач в преодолении тоталитаризма. Он сам меняется в процессе осмысления этого опыта. Незрелость российского гражданского общества не позволяет нам представить всю сложность, всю массу проблем — политических, социальных, психологических, правовых, — которые возникают при попытках той или иной страны изменить саму себя. Не хватает воображения, поскольку в нашей социальной реальности никогда не возникало коллизий такого рода, не было того многообразия общественных движений и групп, которые могли бы ставить подобные проблемные задачи и пробовали практически их решать. Дополнительной трудностью здесь оказывается дефицит теоретических, концептуальных разработок тоталитаризма.

¹ Как показывают данные социологических исследований, проводимых «Левада-центром», 47% опрошенных в апреле 2017 года россиян считали, что «не надо ворошить прошлое», «лучше поменьше говорить об этих репрессиях» (не согласны с ними были 38% респондентов).

Сама по себе проблематика выхода из тоталитаризма (а не только вопросы денацификации и декоммунизации, или, как называет это автор вслед за Т. Адорно, «проработки прошлого») — наименее разработанная в концептуальном и теоретическом плане часть социальных и политических наук. Историки, политологи, социологи, психологи уделяли много сил и внимания описанию истории становления и функционирования тоталитарных режимов разного типа: фашизма, нацизма, советского и восточноевропейского социализма, китайской системы. Очень подробно рассматривались условия и причины возникновения массовых движений, захват власти, формы организации господства, практики террора, пропаганда и идеологическая доктринация населения, связь экспансионизма и милитаризма с особенностями идеологии и прочие аспекты подобных «партий-государств».

Но почти никто из исследователей, работающих в этой теоретической парадигме, не ставил вопрос о том, какова конечная судьба режимов этого рода. Что будет, к примеру, с коммунистическим Китаем? Ираном аятолл? Весь период холодной войны преобладало убеждение, что подобные системы господства внутренне чрезвычайно устойчивы, что их крах может иметь место только в результате военного поражения, как это случилось с нацистской Германией или фашистской Италией. Никакого анализа процессов внутреннего разложения этих социальных систем не было, хотя работы некоторых историков 1970–1980-х годов указывали на то, что идеологическая монолитность тоталитарных систем — мнимая, что внутри обществ сохраняется или воспроизводится некоторая разнородность, разномыслие и конкуренция разных ведомств. Но в конце 1980-х годов режимы, составлявшие соцлагерь, начали падать по принципу домино, один за другим. «Бархатные революции» разрушили установленные Сталиным политические системы в Восточной Европе. После внезапного и быстрого краха СССР и Варшавского блока основное внимание политологов было сосредоточено на мерах, обеспечивающих быстрый переход от позднего «социализма» брежневского толка к демократии западных стран. За рамками рассмотрения по-прежнему оставались вопросы, почему такие системы вообще возникали и могли функционировать столь длительное время.

Эпоха горбачевской перестройки 1985–1991 годов, время гласности, возникновения неформальных движений и дискуссионных клубов породили надежды на необратимость изменений тоталитарного режима, на окончательность и закономерность перехода к демократии. Считалось, что проблемы выхода из тоталитаризма утратили свою актуальность. Ответы, казалось, лежат на поверхности, а причины распада очевидны, учитывая трудности экономик соцстран и отставание от Запада, которое накопилось и проявилось к этому времени. Появилась масса транзитологической литературы, предписывающей рецепты того, что надо сделать, чтобы перейти от закрытого общества и планово-распределительной экономики к свободному рынку и демократии.

Однако уже спустя 10–15 лет после включения восточноевропейских государств в Европейский союз возникли подозрения, что с «транзитом» что-то не так. Через какое-то время они превратились в уверенность. Даже в считающихся успешными восточноевропейскими странах, чье демократическое развитие проходило под покровительством и при помощи ЕС, все пошло не так гладко, как предполагалось вначале. Авторитарные, антилиберальные, консервативные и правопопулистские националистические тенденции отмечены в Польше, Венгрии, Восточной Германии, Сербии. В Болгарии и других странах имеет место длительная стагнация и отсутствие каких-либо позитивных изменений.

Еще сложнее дело обстояло на постсоветском пространстве, в России, Украине, Закавказье. В бывших союзных республиках Средней Азии получение государственного суверенитета привело к перерождению в диктатуры или деспотии (как в Туркменинии). В Азербайджане, а в какой-то момент — в Грузии и Армении слабые, номинальные демократии в ситуации этнических войн очень быстро превратились в персоналистические авторитарные режимы. В России уже к концу 1990-х, а тем более в 2000-е годы стало очевидным усиление влияния армии и политической полиции на состояние дел в стране, восстановление карательного судопроизводства и имперской государственной идеологии. Записанные в Конституции РФ разделение властей, права и свободы человека, верховенство права оказались не более чем «слова, слова, слова». Однако вплоть до последнего времени либералы и демократы отказывались признать

регенерацию институциональных практик, характерных для позднего брежневского времени.

Сегодня «транзитология» утратила свой статус парадигмы описания и интерпретации происходящих событий, набора политических рецептов модернизации. Но она сохранилась в виде своеобразной идеологии и групповой идентичности оппонентов режима и экспертного сообщества. Убежденность в возможном и даже скором изменении нынешнего режима стала не просто набором массовых иллюзий, но чем-то вроде групповых символов веры для немногочисленной оппозиции и своеобразным успокоительным средством для гораздо более широкой массы конформистов. Идея как бы predetermined, детерминированного исторически, «автоматического» и потому бессубъектного процесса изменений (разумеется, к «лучшему») — это бессознательное продолжение советской веры в общественный прогресс, обеспечиваемый государством. Это часть традиционной российской политической культуры, блокирующей возможность понимания происходящего. Глубокоэшелонированная психологическая защита против травмы несостоятельности демократии, а еще более глубоко — против травмы сталинской «модернизации», террора, страха, личной беспомощности и аморализма окружающих заставляет вытеснять подобные неудобные обстоятельства. Приходится говорить, что реверсное движение в политической эволюции России имеет не случайный, а вполне закономерный характер.

Все сказанное выше должно лишь подчеркнуть значимость и сложность решения тех задач, которые поставила перед собой автор. Но, как завещал нам Иммануил Кант: «Имей мужество пользоваться своим умом!»¹ И в этом мужестве никак

¹ «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннoлетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения». *Кант И.* Ответ на вопрос: Что такое просвещение? // Кант И. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 25. Sapere aude! — сегодня это лозунг Московской школы гражданского просвещения.

не откажешь Евгении Лёзиной. Я остаюсь под глубоким впечатлением от выверенности, обоснованности ее аргументов и обширности анализируемого материала.

Принципы ее работы (ценностная и методологическая основа) состоят в том, что осмысление репрессивного прошлого (там, где оно имеет место) должно включать не только «широкий спектр общественно-политических, культурных, образовательных инициатив», но и совершенно определенную, конкретную программу юридических и правовых действий и мероприятий, известных как «меры правосудия переходного периода». Преодоление прошлого предполагает три типа работы (их можно рассматривать как три фазы процесса проработки прошлого). Это *общественная, публичная артикуляция* проблематики террора и его институтов; *необходимые изменения в законодательстве* — принятие новых законов, устанавливающих ответственность за государственные преступления в прошлом и меры по предотвращению возврата к нему в настоящем; *очищение власти* от коррумпированных элит, связанных с апологетикой террора и препятствованием демократическим преобразованиям. А также *проведение масштабной образовательной и информационной политики, направленной на изменение отношения общества к своему прошлому*, осознанию «продолжения прошлого в настоящем» и моральной переоценке прошлого и его институтов.

Было бы нелепым отрицать первоначальный потенциал демократических изменений в России. Он, безусловно, был. Но не было понимания, что трансформационный процесс не сводится к рынку и частной собственности, что без необходимых институциональных изменений его нельзя считать необратимым, что новые и очень слабые институты, скорее продекларированные, чем действительно функционирующие так, как они должны были бы действовать, без необходимой защиты и постоянной, непрерывной работы по осмыслению прошлого как условия их легитимности не выдержат сколько-нибудь длительного сопротивления или давления консервативной реакции. Этого предупреждающего знания в России не было. А значит, судебная система, спецслужбы, по самой сути своей действующие «особым образом», в «режиме чрезвычайности» (вне правовых

рамок регулирования и контроля), образование, право и другие важнейшие институты не были подвергнуты полному реформированию. В результате мы получили регенерацию прежних структур и институтов. Провал «суда над КПСС», отказ от люстрации и принятия ответственности за преступления советской власти, воспроизводство прежних форм государственной идеологии в массовой школе и прочее обеспечили восстановление тоталитарных институтов, но уже в форме «тоталитарного китча» — коррумпированной и суверенной системы власти.

В заключение еще раз выскажу свое давнее убеждение: главное условие действительно удачной научной работы состоит не столько в эрудиции исследователя, сколько в доброкачественности и силе его мотивации. В данном случае это человеческая тревога за будущее, понимание смысла свободы и необходимости ее защиты, что невозможно без сознания значимости истории. Я давно ждал подобной книги, хотя шансов появления работ такого класса становилось по прошествии лет все меньше и меньше. Теперь такое исследование есть. От него можно и нужно отталкиваться в последующих разработках ключевых проблем эволюции российского общества и государства. И это дает некоторую надежду.

Лев Гудков

Предисловие

В фокусе внимания предлагаемой читателям книги — понятие «проработки прошлого». Одним из первых этот термин использовал в 1959 году социолог Франкфуртской школы Теодор Адорно для обозначения критического осмысления причин и последствий репрессивных практик, свойственных диктатурам¹. Попытка исследования опыта расчета с прошлым в обществах, где прежде господствовала организованная государством система террора, стала сквозной идеей данной работы.

Освоенный за десятилетия после окончания Второй мировой войны инструментарий проработки прошлого довольно многообразен. Процессы осмысления репрессивного прошлого в обществах, стремящихся преодолеть свое авторитарное или тоталитарное наследие, могут включать не только широкий спектр общественно-политических, культурных, исторических, образовательных инициатив, но и комплекс юридическо-правовых средств, более известных как меры правосудия переходного периода, или меры переходного правосудия (Transitional Justice)². Под последними, как правило, понимаются различные юридическо-правовые механизмы, с помощью которых страны, стремящиеся построить общественно-политическую жизнь на новых демократических и правовых началах, пытаются

¹ Adorno Th. W. (1959) Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit // Adorno Th. W. Eingriffe. Neun kritische Modelle. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1963. S. 125–146. В русском переводе: Адорно Т. Что значит «проработка прошлого»? / Пер. с нем. // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). С. 36–45.

² Teitel R. G. Transitional Justice. New York: Oxford University Press, 2000.

добиться свершения правосудия, наказания ответственных за преступления, выработать ответ на систематические нарушения прав человека при прежних режимах. Объединяет эти политические решения в самых разных точках планеты — отступивших на путь демократизации стран Латинской Америки до посткоммунистических государств Центральной и Восточной Европы — стремление восстановить в своих границах верховенство права, создать новые основания общественного договора и отказаться от недемократических практик, допускающих полную или частичную безнаказанность.

Первым значительным опытом переходного правосудия в современной истории стала широкомасштабная программа денацификации, проводившаяся союзниками по антигитлеровской коалиции в послевоенной Германии. Она включала устранение нацистской идеологии и символики из общественной жизни, демонтаж основных нацистских институтов — партии, полиции, судебных органов, общественных организаций и пр., привлечение к уголовной ответственности бывших руководителей Третьего рейха, а также удаление из госадминистрации, с гражданской службы, из части экономических структур бывших нацистских лидеров, активистов и пособников. Именно денацификация Германии стала предшественницей всех мер переходного правосудия, реализованных впоследствии в разных частях мира¹.

Послевоенная Западная Германия, благодаря постепенно осваиваемой и проводимой в постоккупационный период политике памяти, также стала первопроходцем в критической проработке прошлого в публичной сфере. Со временем Германия превратилась в образец нации, способной к переосмыслению собственных преступлений, к смене оснований национальной идентичности. В то же время, несмотря на уже ставшую общим местом эталонность немецкого опыта проработки прошлого, процесс критического осмысления национальной истории в самой ФРГ всегда был сложным, неоднозначным и медленным.

¹ *Stan L., Nedelsky N. (eds) Encyclopedia of Transitional Justice. 3 Vols. New York: Cambridge University Press, 2015; Kritiz N. (ed.) Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes. 3 Vols. Washington: United States Institute of Peace Studies, 1995.*